

ИРИНА ПОПОВА,

доктор философских наук, профессор кафедры социологии Института социальных наук Одесского государственного университета

Повседневное сознание в переходном обществе: симптомы кризиса

“Раскол в человеческой душе — это эпицентр раскола, который проявляется в общественной жизни”.

А.Тойнби

“По существу, в основе нашего мировоззрения всегда лежит основание будущего”.

К.Ясперс

“Пусть каждый сам себе ответит на вопрос, как он оценивает шансы на исцеление от недуга. И независимо от того, возросли ли они в его глазах или нет, самым важным в конечном счете остается одно — хранить мужество, верить и выполнять свой долг”.

Й. Хейзинга

В многообразной литературе, посвященной проблемам переходного общества, обращается внимание на то, что переходное состояние сопровождается тяжелыми катаклизмами сознания, своеобразным его кризисом. “Надломы цивилизаций”, “расколы социальной системы”, по мнению Арнольда Тойнби, проявляются как “расколы человеческой души”, затрагивающие “поведение, чувства, жизнь в целом”. Поэтому, “если мы хотим иметь представление о более глубинной реальности, следует подробнее остановиться на расколе в человеческой душе” [1, с.358].

Й.Хейзинга, считавший себя оптимистом, в своем трактате “В тени завтрашнего дня” нарисовал пессимистическую картину современного ему общества, когда после кризиса 1929 года “настроения грозят миру

гибели” стали повсеместными. Он обратил внимание на то, что эти настроения были обусловлены экономическим кризисом (который “люди испытали на собственной шкуре, а у большинства шкура чувствительнее духа, и с этим ничего не поделаешь”), “экономический разлад есть только одно из проявлений гораздо более обширного культурного процесса” [2, с.246].

Значительные культурные сдвиги, гибель одних культурных форм и порождение новых придают общественному кризису глубоко внутренний, личностный характер, порождая так называемое “кризисное сознание”. К нему обычно относят сознание, характеризующееся такими признаками, как беспокойство, тревожность, страх, anomia, неуверенность в завтрашнем дне, явно и неявно выраженное пессимистическое восприятие действительности. Эти характеристики сознания рассматриваются как признаки деморализации общества, особенно опасной в виде симптома “дальнодействующих” отрицательных эффектов.

При изучении кризисного сознания возникают по меньшей мере две проблемы, более или менее определенно зафиксированные в социально-философской литературе. Во-первых, не всем переходным периодам, как свидетельствует история, присущи настроения безысходности и пессимизма. Й.Хейзинга, указавший на глубинные культурные последствия “экономического разлада”, приводит на этот счет интересные соображения. Сравнивая представление о современном ему кризисе с “великими потрясениями прошлого”, он отмечает следующее: хотя идея о том, что миру угрожает закат или гибель, “присутствует в самые разные эпохи”, существуют все же особые периоды “интенсивного культурного поворота”. При этом одни из них “отличает ярко выраженный кризисный характер”, другие — надежда и оптимизм. Характеризуя такие периоды “крутых поворотов”, как переход от Древнего мира к Средневековью, от Средних веков к Новому времени, затем от XVIII к XIX веку, “особенно важным” Хейзинга считает то, что в критические периоды, какими были Ренессанс и Реформация, период Французской революции и Наполеона “надежда и идеалы гораздо значительнее влияли на общее настроение в области культуры, чем это имеет место в настоящее время” [2, с. 253].

Суть *первой проблемы*, таким образом, состоит в том, в какой степени в тот или иной переходный период общественные катаклизмы, масштабные социально-экономические и культурные сдвиги, связанные с изменением систем ценностей, обуславливают нарастание явлений кризисного сознания, какие факторы этому способствуют, какие противодействуют.

Вторая проблема относится к области “диагностики” кризисного сознания, возможности его изучения конкретно-социологическими средствами. Речь идет о том, чтобы указать на такие характеристики сознания, которые можно было бы рассматривать как симптомы кризиса. Обращение к исторической литературе свидетельствует, что характеристика повседневного сознания прошлых эпох — вещь чрезвычайно сложная. Соответственно непросто охарактеризовать масштабы кризиса сознания на “крутых поворотах” истории и осуществлять сравнение кризисного сознания прошлых эпох с повседневным сознанием наших современников.

Считая кризис повседневного сознания ряда переходных эпох повсеместным (охватывающим все слои и социальные группы), исследователи используют так называемые “непрямые методы” (термин А.Я.Гуревича), дающие возможность охарактеризовать сознание широких масс населения. Так, анализируя тексты прошений, составленных писцами, либо “покаянных книг”, авторами которых были проповедники, историки реконструируют массовое сознание птолемеевского Египта и Средневековья. А.Я.Гуревич, отмечая широкую популярность “пессимистического понимания современности” в Средние века [3, с.133] так пишет о “покаянных книгах” как источнике изучения народной культуры Средневековья: “Перед нами своего рода “анкеты”, — повторяю, они содержат лишь вопросы, но их анализ может в какой-то мере приблизить нас к пониманию духовного мира тех людей...” [4, с.63].

Современные социологи, исследующие явления кризисного сознания, могут судить о нем не на основании вопросов, которые они же сами и задают, а посредством анализа содержания ответов на поставленные вопросы. Тем не менее постановка вопросов (о чем спросить?) имеет существенное значение при использовании их для квалификации массового сознания как кризисного. Существенную роль в этом играет содержащееся в исторической и социально-философской литературе указание на доминирование в кризисных обществах состояния неуверенности, значимость содержания представлений о будущем для понимания настоящего.

Жак ле Гофф, характеризуя Средневековье, считает, что именно *неуверенность в будущем* влияла на умы и души людей этого общества, определяя их поведение. “Эта лежавшая в основе всего неуверенность, — пишет он, — в конечном счете была *неуверенностью в будущей жизни* (курсив мой. — *И.П.*), блаженство в которой никому не было обещано наверняка ни добрыми делами, ни благоразумным поведением” [5, с.302]. Представление о будущем, таким образом, определяет не только пессимистическое, но и оптимистическое восприятие действительности и невзгод переходного периода.

Карл Ясперс, например, объясняя оптимизм “переходного” XVIII столетия, считал, что пессимистическому видению мира противостояли “популярные картины будущего великолепия, коренящиеся в *идее* прогресса”... [6, с.158]. “Видение настоящего, — пишет он, — в такой же степени зависит от восприятия прошлого, как от прогнозирования будущего. Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим прошлое и настоящее” [6, с.155].

Итак, изучению кризисного сознания могут быть предпосланы следующие методологические положения: именно образ будущего (его оптимистическая или пессимистическая оценка) обуславливает восприятие реальных трансформационных процессов и характеризует особенности адаптации населения к происходящему, состояние его сознания и поведенческие реакции. О значимости для состояния сознания “определенности жизненной перспективы”, “модели будущего”, “уверенности в завтрашнем дне” и пр. свидетельствует философская и социологическая литература, посвященная анализу проблем идеологии и утопического сознания, различного рода источники, описывающие состояние сознания военного времени. Характеризуя общественные настроения периода Первой миро-

вой войны, Й.Хейзинга пишет, что “все внимание в те годы было направлено на ближайшую задачу: продержаться, выжить, напрягши силы, а затем, когда война будет позади, мы все поправим, жить станет лучше, да, и навеки!” [2, с.247]. Вдохновляла, таким образом, перспектива, вселявшая оптимизм. На важность размежевания кризисов с “перспективой” и без нее обращают внимание исследователи суицидального поведения, признающие роль общественных кризисов в явлениях суицида.

Решая вопрос о симптоматике кризисного сознания, особое внимание следует обратить на выявленное в процессе изучения нестабильных обществ так называемое явление “презентизма”. Суть последнего состоит в том, что в условиях всеобъемлющих общественных изменений и постоянной нестабильности люди живут только сегодняшним днем, не задумываясь о будущем, не ставя перед собой сколько-нибудь отдаленных целей. На первый взгляд, такое заключение противоречит тому, что существенное значение для состояния сознания в эпоху кризиса имеет именно образ будущего. На самом деле “презентизм” — это результат сложного взаимодействия представлений о настоящем, прошедшем и будущем, это (что представляется крайне важным для понимания сущности “презентизма”) и пессимистический образ будущего, сформировавшийся сквозь призму определенного восприятия настоящего. Польский социолог Элизабет Тарковская, анализируя явление “презентизма” в ряде своих работ [7, 8, 9], пишет следующее: “Глубокие политические, экономические и социальные изменения, а также их аккумуляция в очень короткий период обуславливают способ понимания людьми времени, влияют на их отношение к прошлому, настоящему и будущему”. При этом “формируется специфическое отношение к будущему, выраженное в чувстве неуверенности и непредсказуемости”. Такая “презентистская ориентация”, по мнению Э.Тарковской, “может быть опасной для реформ” [9, с. 271].

Об особой роли кризисного настоящего в восприятии не только будущего, но и прошлого пишут П.Бергер и Т.Лукман. По их мнению, в кризисной ситуации настоящее является реальным основанием отношения к прошлому в процессе ресоциализации (альтернации). Именно в соответствии с восприятием настоящего перетолковывается прошлое [10, с. 263]. Интересные соображения о “перетолковании прошлого” в период Средневековья находим у А.Гуревича. Характеризуя народные “воспоминания” этого периода как “мифопоэтические утопии”, он пишет: “Насколько эпическое сознание не считалось при этом с *настоящей историей* (курсив мой. — И.П.), видно хотя бы из того, что к числу подобных добрых королей оно относило Карла Великого, Фридриха Барбароссу или Олава Святого” [3, с.118]. Кризисное настоящее, таким образом, обуславливает оптимистическое перетолкование прошлого и пессимистическое переживание будущего.

Социально-философская проблема сложного взаимодействия восприятий настоящего, прошедшего и будущего еще ждет более углубленного решения средствами социологического анализа, предполагающего проведение эмпирических исследований. В последнее время в постсоветской социологической литературе появляются интересные работы, посвященные проблемам переживания социального времени [11], характе-

ристике различных моделей социального времени [12], проблемам оптимизма/пессимизма в переходном обществе [13]¹. Главное состоит в том, что прилагаются усилия для привлечения к анализу указанной проблематики средств эмпирического изучения. По мнению А.А. Давыдова, понятие социального времени, являющееся базовым для теоретической социологии, традиционно анализируется в рамках так называемой гуманитарной парадигмы, “в то время как математическая и естественно-научные парадигмы практически не используются” [12, с. 98]. Использование последних, считает А.А. Давыдов, дает возможность сделать вывод о том, что в условиях “конкретного социального процесса и периода” доминирующая роль может принадлежать будущему [12, с.101]. Таким образом, эмпирические и математические средства исследования, как можно предположить, могут продвинуть нас и в решении проблем кризисного сознания.

В настоящее время аналогичные проблемы разрабатываются: в Украине — Н.В. Паниной и Е.И. Головахой [14], в Беларуси — Е.М. Бабосовым [15], в России — В.А. Ядовым [16 и 17] и В.Н.Шубкиным [18]. Социально-тревожное сознание изучается российскими социологами совместно с профессором Мичиганского государственного университета (США) В.Э. Шляпентохом, предложившим исследовательский проект “Катастрофическое сознание в современном мире” (“Catastrophic Thinking in the modern world, its intensity and influence on politics”). Исследование кризисного сознания связано с социологическим изучением социальной адаптации, социально-психологических аспектов социальных изменений, с исследованием эмоциональных и поведенческих отклонений в рамках так называемой “социологии социальных проблем”. Полезные идеи содержатся в работах, в которых рассматриваются социальные аспекты природных катастроф и порожденных ими бедствий: Е. Кворентелли (США) “Disaster: Theory and Research” (1978), “What is Disaster? The need for clarification in definition and conceptualization in research” (1985), А.Пригожина (Россия) “Социодинамика катастроф” (1994) и др.

В западной социологической литературе высказывается точка зрения, согласно которой в настоящее время именно теории катастроф и хаоса “могут внести значительный вклад в концептуализацию социальных изменений” [19, с.1]. По мнению Президента Американской социологической ассоциации Маурин Халлинан, использование данных теорий и соответствующих этим теориям математических моделей как методологических инструментов изучения драматических переворотов последних десятилетий можно рассматривать и как переворот в самой социологии, как своеобразную научную революцию в ее Куновском понимании [19, с.9].

¹ Украинский вариант этой статьи см.: *Леонід Кесельман, Марія Мацкевич*. Індивідуальний оптимізм/песимізм у сучасній російській трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998.—№ 1—2.

О необходимости использования новых подходов (так называемой "парадигмы нелинейности")¹ в изучении современных социальных изменений обращается внимание и в постсоветской социологической литературе. Е.М. Бабосов, указывая на конструктивность данных подходов при исследовании кризисных и катастрофических процессов, приводит интересную "катастрофную типологизацию". Среди катастроф различного типа он выделяет, в частности, *социальные* и *личностные*, хотя считает, что "в любую катастрофическую ситуацию неизменно оказывается вовлеченным человек: то ли как инициатор, то ли как жертва, то ли как очевидец". Именно этот аспект, по мнению Бабосова, "составляет объект социологии, принимающей в орбиту своих исследований те катастрофические события, которые несут угрозу индивидуальному человеческому существованию, данной социальной группе (семья, трудовой коллектив, территориальная этническая общность), обществу в целом" [15, с.20].

Понятие катастрофы, таким образом, употребляется широко, охватывая и природные, и общественные катаклизмы. С другой стороны, катастрофа — это не просто *ухудшение* или даже *значительное ухудшение*, а изменения состояния, представляющие *угрозу существованию*. Возможно, по этому критерию целесообразно различать *катастрофу* и *кризис*, соответственно *катастрофическое сознание* и *кризисное сознание*. Тем не менее понятие катастрофы в большей степени используется для обозначения бедствий, порожденных именно природными катаклизмами, соответственно катастрофическое сознание — реакция на эти внезапные, "внешние" по отношению к человеку и обществу обстоятельства. Кризисное же сознание обычно приписывают переходному, нестабильному обществу и рассматривают его как явление, сопутствующее масштабным социально-культурным трансформациям. В процессе таких трансформаций гибнет одна культура и формируется другая. Одним из следствий гибели культуры является "...распад привычного образа мира, что влечет за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровнях, а также на уровне общества в целом" [21, с. 208]. Если же использовать понятие катастрофы в широком смысле слова и понимать под катастрофическим сознанием любое "восприятие жизненного пространства как непригодного для жизни" [17, с. 80], то грань между катастрофическим и кризисным сознанием становится весьма условной. *Восприятие жизненных условий как катастрофы выступает кульминационной точкой кризиса сознания.*

Не вполне надежным способом спецификации катастрофического сознания является так называемый "депривационный подход". Его сторонники разграничивают "относительную депривацию", означающую разрыв между желаемым и достигнутым, и абсолютную, обусловленную невозможностью обеспечения "элементарных жизненных потребностей". Именно с последней связывают "ощущение катастрофы" [17, с.80]. Но в

¹ Заметим, что отказ от "линейности" рассматривается в современной социологии как критерий различения "modernity" и "postmodernity". Об этом пишет, например, Е. Тарковская в рецензии на книгу: *H. Nowotny Time. The Modern and Postmodern Experience*, translated from German by Neville Plaice. — Cambridge: Polity Press, 1994. (См. также: 20, с.192).

реальной жизни разрыв между желаемым и достигнутым переживается подчас как невозможность удовлетворять элементарные жизненные потребности, в частности, потребность в самой жизни. Это обнаруживается, например, в явлении суицида, которое мотивируется восприятием социокультурной действительности как жизненной катастрофы. Массовыми пессимистическими психозами в определенных обстоятельствах может оборачиваться лишение не элементарных, а просто *привычных* благ и условий. *Кульминационный момент превращения кризисного сознания в катастрофическое всегда относителен и обусловлен конкретными социокультурными, историческими обстоятельствами и сложным взаимодействием множества качественно различных факторов.*

При изучении кризисного сознания следует исходить также из того, что многообразные невротические симптомы, наблюдаемые в переходном обществе — результат пересечения сугубо индивидуального и общественного. Заключение Э. Эриксона о том, что “нельзя разделять кризис идентичности в индивидуальной жизни и современные кризисы в историческом развитии” [22, с.23], стимулирует совмещение макро- и микро-социологических подходов при изучении невротических состояний. На необходимость такого совмещения указывают авторы “Социологии социальных проблем” [23, с.23–25], а также исследователи суицидального поведения [24, с.553; 25, с.69].

Важное теоретическое и практическое значение при изучении кризисного сознания имеет его диагностика, отслеживание динамики нарастания кризисных явлений, установление факторов, обуславливающих эту динамику. Это предполагает накопление значительного объема информации, работу с большими массивами. Оценка степени кризисности сознания осуществляется посредством различных его характеристик. Для оценки кризисного сознания в общем виде используются различного рода шкалы (например, “общей жизненной удовлетворенности”, разработанная американскими психологами ILS-Index Life Satisfactory, адаптированная Е.Головахой и Н.Паниной [см.: 12]); для характеристики тревожности применяют стандартный тест общей обеспокоенности (General anxiety), используемый В.А.Ядовым [см.: 15], интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС), предложенный Головахой и Паниной [26] и др. Тесты эти, хоть и используются в массовых опросах, как правило, довольно сложны для масштабных обследований. Поэтому одной из наших задач было нахождение относительно просто фиксируемых характеристик, презентующих кризисность сознания.

Существует и другая сторона проблемы, инициировавшая направления нашего поиска таких характеристик. В социологической литературе, посвященной исследованию пессимизма/оптимизма, обращается внимание на то, что в качестве индикатора в подобных исследованиях, как правило, использовалось не видение перспектив, а удовлетворенность нынешней ситуацией. “Пессимизм/оптимизм, фиксирующий не отношение к нынешней ситуации, а ожидаемое будущее, — пишут Кесельман и Мацкевич, — в социологических исследованиях применяется значительно реже” [13, с.40]. Сами авторы в качестве индикатора экономического пессимизма/оптимизма принимают представление об индивидуальной

экономической *перспективе*. Выбор *образа будущего* для характеристики состояния сознания, индикатора его кризисности инициировался не только социально-философской разработкой проблемы. Учитывалось и то, что в субъективном восприятии индивида “именно планируемое, ожидаемое и предвидимое будущее обеспечивает единство и целостность его биографии и, следовательно, прочность и долговременность его идентификаций” [21, с.209].

В наших исследованиях в качестве переменных, с помощью которых фиксировались представления о будущем, выступали вербально выраженные “уверенность в завтрашнем дне”, “ожидания”, “чувства, которые испытывают, когда думают о будущем”, представление о том, “уже позади или еще впереди основные жизненные трудности”¹. Из всех моделей будущего именно “уверенность в завтрашнем дне” была “сквозной” характеристикой, фиксируемой во всех массивах. Поэтому основное внимание в данной статье будет уделено “уверенности в будущем”. Неуверенность в будущем рассматривалась нами как переживание “бесперспективности”, а повышение показателя неуверенности — как свидетельство нарастания кризисного сознания.

Анализ динамики “уверенности”, а также выяснение связи уверенности с другими характеристиками позволил составить следующую общую картину: индекс уверенности ($I_{ув}$) при некоторых колебаниях неуклонно снижался до 1996 года: по области в целом от -12 в декабре 1989 года до -67 в январе 1996 года, по Одессе от -36 до -70 . К 1998 году $I_{ув}$ и по области в целом, и по Одессе повысились (соответственно составляли -58 и -61), что, вероятно, свидетельствует о некоторой стабилизации основных жизненных условий, характерной для данного периода, и относительной адаптации к ним населения.

¹ “Уверенность в завтрашнем дне” измерялась посредством 5-балльной шкалы (Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? — Да, вполне уверен; Скорее уверен, чем нет; Скорее не уверен; Нет, совершенно не уверен; Затрудняюсь ответить.) или 3-балльной (Да, Нет, Затрудняюсь ответить). Вопрос “Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни” предусматривал следующие варианты: Нет, в обозримом будущем улучшений не жду; Да, но не скоро; Да, лет через пять; Да, в ближайшие год-два; Не знаю. Учитывались данные по 14-ти массивам (область в целом и Одесса отдельно). Данные репрезентативны: в Одессе опрашивалось в среднем 450–500 чел., по области в целом — 1000–1200. Ошибка выборки, как правило, не превышала 4–5%. Контролируемые признаки: пол, возраст, место жительства (Одесса, малые города, пгт, село).

К сожалению, не было возможности проследить связь с одними и теми же признаками по всем массивам, т. к. опросы, в которых фиксировались модели будущего, были посвящены различным темам. Не учитывались также данные, где наполнение (в каждой клеточке) было незначительным. Поэтому одни пункты выводов следуют из данных одних массивов, другие — из других. Для обоснования выводов используются значения индекса ($I_{ув}$), который изменяется от -100 до $+100$. Индекс рассчитывался как разница между положительными и отрицательными ответами, где 0 означает баланс тех и других. В пятичленной шкале индекс рассчитывался с учетом веса позиции. При анализе использовались также: значения коэф. Крамера (для определения тесноты связи), коэф. Дельта (для определения информационной зависимости с учетом направления связи). Время проведения опросов — 1989 — 1998 годы.

Значительное падение $I_{ув}$ имело место в марте—апреле 1991 года (на 18—20 единиц), а затем через год — в марте 1992 года (на 10—12 ед.). В обоих случаях опросам предшествовало резкое повышение цен. 1992 год, как известно, был также годом распада Союза, что, как можно предположить, существенно повлияло на настроения населения. Резко выраженное нарастание пессимизма на постсоветском пространстве в 1992 г. — факт, зафиксированный в различных опросах, проводимых в странах бывшего Союза. Так, например, Е. Головаха и Н. Панина, обращая внимание на значимость для респондентов прогноза своего положения в будущем, считают, в частности, что переломным в этом отношении явился конец 1992 г., когда “апокалиптические настроения становятся если не доминирующими, то, по крайней мере, распространенными” [14, с.101].

Заметим, что сопоставление результатов изучения уверенности населения в завтрашнем дне и суицидального поведения представляет значительный интерес и свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования этой связи. С. Ахмедова, анализируя данные “Телефона доверия” (ТД)¹, обнаружила, например, что объективные характеристики потенциальных суицидентов, обратившихся на ТД, совпадают с объективными характеристиками неуверенных в будущем жителей. Это свидетельствует о соответствии общего психологического состояния индивидуальному. Интересно, что при общем соответствии динамики суицидального поведения динамике “уверенности”, а также при наличии связи “уверенности” с субъективными оценками изменения материального положения и жизни вообще по массиву в целом, в суицидальных настроениях преобладают (по данным ТД) сугубо индивидуальные, личные мотивы. Это свидетельствует о том, что общественный кризис преломляется через индивидуальное состояние, поэтому явления кризисного сознания должны комплексно изучаться представителями различных наук.

Уверенности-неуверенности в завтрашнем дне соответствует и *отношение к суициду* (степень оправдания суицидального поведения). Об этом свидетельствует обследование выпускников общеобразовательных школ Одессы, проведенное в марте 1996 года². При относительно высоком индексе уверенности (–11 в сравнении с –61 у молодежи от 18 до 30 лет и с –73 у всего населения) самый низкий уровень уверенности (–41) у тех ребят, которым присуща высокая степень оправдания суицидального поведения; самый высокий индекс уверенности (+20!) у тех, кто менее всего склонен оправдывать этот акт.

Выяснение связи “уверенности” с объективными характеристиками (пол, возраст, среднедушевой доход) показало, что, несмотря на опреде-

¹ Были проанализированы регистрационные журналы городского ТД за период с 1989 по 1994 год. Подробнее см.: Ахмедова С. Социологический подход к анализу суицидологической информации телефона доверия // Харьковские социологические чтения-97. — Ч. II. — Харьков: Основа, 1997.

² Выборочный опрос репрезентативен для всех выпускников общеобразовательных школ Одессы. Контрольные признаки: тип школы, язык обучения, район города. Ошибка выборки — 3%. Всего опрошено 378 человек.

ленную тенденцию (доход, молодость, принадлежность к мужскому полу обуславливают наличие их положительной связи с уверенностью), картина связи данных переменных в разные периоды различна. Например, в 1989 году вариационный размах $I_{ув}$ у групп, выделенных по среднедушевому доходу, равнялся 37, тогда как в 1996 году он составил всего 15. Начиная с 1996 года $I_{ув}$ у различных возрастных групп варьирует в значительно меньшей степени, чем в предшествующие годы. Причем и в 1996, и в 1998 году имеет место видимое падение $I_{ув}$ (по сравнению с более молодыми группами) в возрастной группе 40–49 лет, тогда как в 1992 году резкое падение $I_{ув}$ наблюдалось лишь у пожилых (60 лет и старше).

Укажем также, что “картина уверенности” групп, выделенных по другим признакам, в последние годы также меняется. Например, в 1994 г. $I_{ув}$ имеющих “собственное дело”, был выше средней “уверенности” по массивам и в 3 раза превышал $I_{ув}$ тех, кто такого дела не имел. Уже в 1996 году этот разрыв существенно уменьшился, и наличие “собственного дела” не внушало такого оптимизма, как раньше. То же самое можно сказать и об “уверенности” таких социальных групп, как руководители предприятий и предприниматели. Хотя их $I_{ув}$ остаются самыми высокими, разрыв значений индексов этих и других групп сокращается. Эти данные свидетельствуют о том, что *неуверенность в завтрашнем дне при некоторой стабилизации его уровня в последнее время приобретает глобальный характер, охватывая различные социальные группы, включая и те из них, представители которых имеют значительный практический опыт работы, достаточно высокую квалификацию, а главное — тех, кто, казалось бы, вполне приспособился к новым, “рыночным” условиям.*

Выяснение связи возраста и “уверенности” показало, что “неуверенность” не всегда является “привилегией” тех, кому за 50. Вплоть до 1992 года у этой категории населения, а также в возрастной группе 40–49 лет были наиболее высокие $I_{ув}$. Это свидетельствовало, как мы считаем, об относительной востребованности в тот период практического опыта, квалификации и образования (уровень последнего оказался наиболее высоким в возрастной группе 40–49 лет)¹. Причем, как показали результаты анализа данных, уверенность-неуверенность в большей степени зависела не от оценки самих обстоятельств, а от представления об их изменении (ответы на вопрос, улучшилось или ухудшилось материальное положение, жизнь в целом за последние несколько лет).

Заметим, что имеется известное соответствие происходящих в современных постсоветских обществах экономических и социокультурных процессов кризисным явлениям, характерным для американского общества периода Великой депрессии 30-х годов. Это был также период становления и бурного развития американской эмпирической социологии, давшей образцы описания состояния страха и безысходности, порожденных обвальным *понижением* социальных статусов. И в настоящее время изменение социальной стратификации, нисходящая мобильность анализируются в США с учетом психологических следствий и стрессов,

¹ Аналогичным образом объясняют изменение картины возрастного оптимизма/пессимизма Кесельман и Мацкевич [См.: 13, с.44].

которые этими процессами порождаются [27]. Однако было бы неправильно связывать кризисное состояние сознания только с ухудшением *материального* положения.

Как отмечалось нами ранее, “уверенность” в большей степени была связана с оценкой изменения жизни вообще¹, чем с оценкой своего материального положения и изменения последнего. В 1996 году, например, индекс оценки изменения “жизни вообще” оказался на 14 единиц ниже оценки изменения материальной жизни и был одним из самых низких по массиву. Причина этого, вероятно, в том, что общественный пессимизм в наибольшей степени обусловлен *общей социальной дезорганизацией*, характерной для процессов, происходящих на постсоветском пространстве. “Ситуация социальной дезорганизации, — считает Л.Я.Косалс, — возникает, когда сломан механизм поощрения за следование социальной норме и наказание за ее нарушение. Когда имеет место произвол — хочешь, следуй тому или иному правилу, хочешь — не выполняй его. Тогда имеет место нарушение социального порядка и потеря социальных ориентиров” [28, с.26].

На значимость оценки жизни в целом обращают внимание и харьковские социологи, исследовавшие в 1996 году уровень социальной напряженности городского населения. По их данным, 2/3 опрошенного населения в этот период считало, что их жизнь за последний год ухудшилась. При этом среди самых общих причин беспокойства существенное место занимала неуверенность в завтрашнем дне [29, с.161]. Отмечая отчуждение от общества, нарастание тревожности и пессимистических настроений, наши харьковские коллеги пишут: “*Социальная дезорганизация, потеря прежнего социального статуса или отсутствие четкой идентификации с новыми социальными группами порождает социальную неудовлетворенность и ощущение невостреманности, которые в 90-х годах практически характерны для большей части населения Украины*” [29, с.70].

На социальный (общественный) характер уверенности-неуверенности и обусловленность последнего сложным взаимодействием различных общественных факторов обращают внимание российские исследователи социально-тревожного сознания. Они считают, что “уверенность-неуверенность” (“В какой степени вы уверены в своем будущем?”) в меньшей степени связана со страхом перед природными катаклизмами и боязнью разрушения природной среды обитания. В гораздо большей степени она связана с многообразными (разнокачественными) социальными факторами: боязнью безработицы, снижением жизненного уровня, американизацией, утратой чувства коллективизма, криминализацией общества [15, с. 86].

Состоянию неуверенности соответствуют и другие чувства, испытываемые людьми при размышлениях о будущем (“Какие чувства вы испытываете, когда думаете о будущем?”). В наших исследованиях и в 1996, и в 1998 году почти 90% населения указало на отрицательные чувства, среди которых преобладают “тревога и беспокойство”, страх,

¹ Ответ на вопрос “В целом Ваша жизнь за последние несколько лет: 1) ухудшилась; 2) не изменилась; 3) улучшилась; 4) затрудняюсь ответить”.

безысходность. “Надежда”, отмеченная третью респондентов, носила явно пессимистический характер, что подтверждается результатами использования средств кластерного анализа (осуществлен М.Б.Кунявским): на всех подмассивах (область в целом и поселения различного типа) надежда попадает в один ряд с такими чувствами как беспокойство, страх, безысходность и характеризует скорее синдром отчаяния и безысходности, чем оптимистической веры в будущее (см. рис.1, 2).

(N=774)

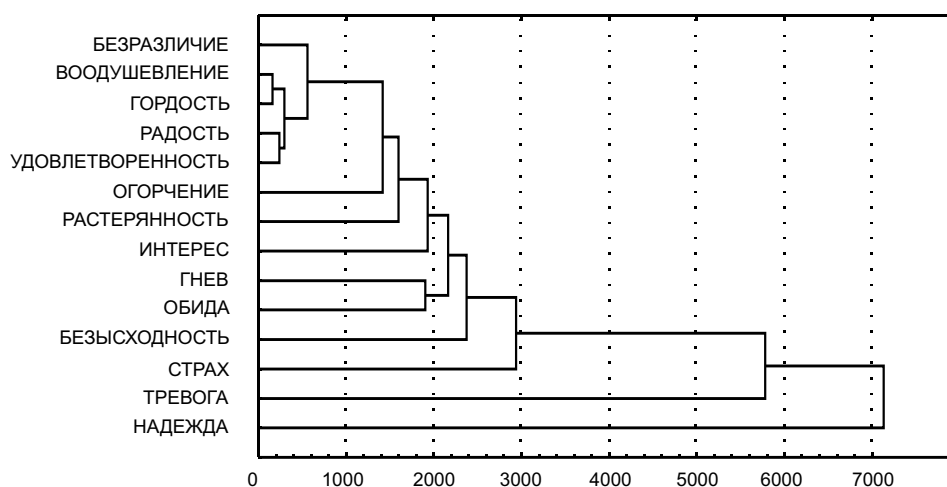


Рисунок 1. Чувства, испытываемые населением при мыслях о будущем (жители Одесской области)

Одесситы (N=354)

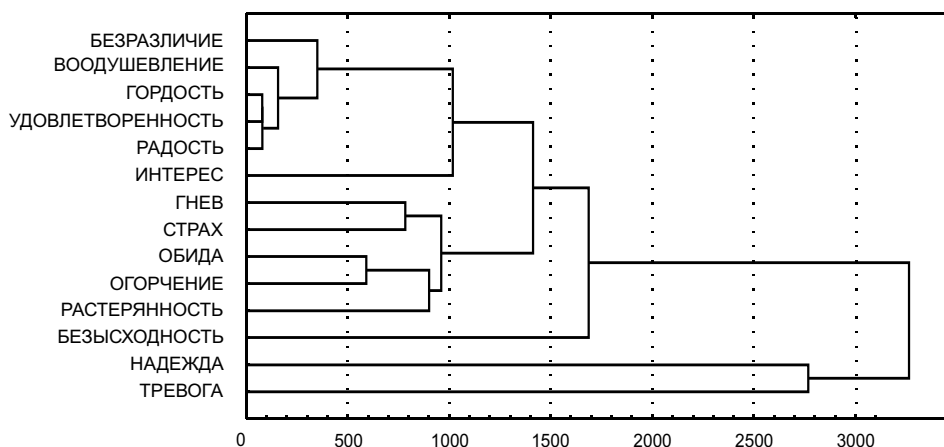


Рисунок 2. Чувства, которые испытывает население, размышляя о будущем (одесситы)

Другая используемая нами модель будущего, фиксируемая как “ожидания”, из всех субъективных оценок оказалась наиболее тесно связанной с уверенностью. Она также свидетельствует о распространенности пессимистических настроений: после 1991 года на всех массивах индекс ожиданий имеет отрицательное значение и вплоть до 1996 года неуклонно понижается. Представляют интерес не столько значения индексов, сколько сравнения вариантов ответов, данных в 1989 году и через 6–8 лет “реформирования” (см. табл.).

Таблица

Динамика распределения ответов населения Одесской области на вопрос: “Ожидаете ли Вы изменений к лучшему в Вашей жизни”, %

№	Варианты ответов	1989 год	1996 год	1998 год
1	Нет, в обозримом будущем не жду	21	40	32
2	Да, но не скоро	14	25	23
3	Да, через 5 лет	32	9	8
4	Да, в ближайшие год-два	18	8	16
5	Не знаю	15	8	21
	Значения индексов	12	-22	-16

Сравнение различных моделей будущего свидетельствует, что “ожидания” больше, чем “уверенность”, связаны с различными объективными характеристиками респондентов. Относительная “заземленность” ожиданий выражается и в более тесной связи с оценками материального положения (и его изменения), чем с общей жизненной удовлетворенностью и оценкой справедливости общества. Для “уверенности” же более значимы именно общие, относительно абстрактные оценки.

“Уверенность” связана с “реальными обстоятельствами” не непосредственно, а как бы опосредованно, через общее мировосприятие. Есть основания предполагать, что “уверенность/неуверенность” как оценочная модель будущего, в большей степени, чем “ожидания”, является существенным компонентом целостной ценностной системы повседневного сознания, к которой относится и общая удовлетворенность жизнью в целом. В “ранних” массивах (1989–1991 годы) связь между общей удовлетворенностью и уверенностью (коэф. Крамера) была наиболее значимой — 0,33, 0,38, 0,49, тогда как для среднестатистического дохода, возраста, образования коэф. Крамера не превышал 0,10. Даже связь “уверенности” с оценками уровня жизни характеризовалась коэффициентами, равными 0,18 или 0,19.

В этот же период времени (по “ранним” массивам) обращала на себя внимание тесная связь “уверенности” с различными оценками справедливости: справедливо ли общество, распространенность случаев несправедливости, успешность борьбы с несправедливостью и др. (коэф. Крамера = .24, .25, .21). При этом, если отношение “удовлетворенность” — “уверенность”, как правило, было транзитивным (о чем свидетельствовал коэф.

Дельта), то отношение “справедливость” – “уверенность” носило иной характер: “справедливость” играла как бы ведущую, “базисную” роль по отношению к “уверенности” – y/x был выше, чем x/y (где y – уверенность, а x – справедливость), и порой значительно. “Уверенность” же играла ведущую роль по отношению к оценкам различных сторон жизни (зарплаты, материального уровня жизни, рыночных реформ, различных органов власти, предпринимателей, предстоящих изменений и др.) и даже по отношению к удовлетворенности уровнем жизни.

Однако “базисная” по отношению к оценкам различных сторон жизни роль “уверенности” в “переломном” 1992 году ослабевает, ведущую роль по отношению к ней приобретает оценка уровня жизни. В марте 1992 года, когда резко снизился $I_{ув}$, коэф. Дельта $x/y = y/x$ (0,23), но уже в октябре для тех же характеристик x/y (где y – “уверенность”, а x – оценка уровня жизни) равен 0,14, а $y/x = 0,24$. В 1996 и 1998 годах теснота связи между “уверенностью” и общими оценками (справедливостью и общей удовлетворенностью), с одной стороны, и “уверенностью” и оценками материального положения, – с другой, была практически одинаковой (коэф. Крамера принимал значения от 0,19 до 0,22.). Ведущую роль по отношению к “уверенности”, однако, играли именно оценки материального положения. (Например, в 1998 году $x/y = 0,18$, а $y/x = 0,32$, где y – уверенность, а x – оценка материального положения.)

Приведенные данные, как можно предполагать, свидетельствуют о некотором переструктурировании повседневного сознания относительно целостной системы представлений, называемой М. Рокичем *belief system*. Характер последней, по его мнению, определяется тем, какие из представлений находятся в центре системы, какие – на периферии. При этом важное значение имеет то, как взаимодействуют между собой верования различного типа: более простые, первичные, приобретаемые в процессе жизненного опыта и более абстрактные, перенимаемые от различного рода “авторитетов”, обеспечивающие чувство групповой идентичности и структурирующие всю систему представлений [30].

Характеризуя повседневное сознание как систему представлений, имеющую определенную структуру, и анализируя связи между фиксируемыми переменными, мы пришли к заключению, аналогичному сделанному В.А. Ядовым: “Критериальным в нашей культуре является несомненное доминирование ценности социальной справедливости...” [17, с.80]. Н.Ф. Наумова также считает социальную справедливость “фундаментальной ценностью российской культуры” [31, с.15]. По нашим данным, даже тогда, когда теснота связи оценки справедливости общества с “уверенностью в будущем” становится меньшей и практически сравнивается со значимостью для “уверенности” оценок материального положения (по коэф. Крамера), сохраняется направление влияния от “справедливости” к “уверенности” и к общей “удовлетворенности”, а не наоборот (по коэф. Дельта). Тем не менее следует признать падение значимости доминирующей ценности (представления о социальной справедливости) в системе представлений. Это падение, как и выдвигание на первый план оценок относительно конкретных жизненных условий, своеобразное переструктурирование системы представлений, ее “размывание” порождают аномию, сопро-

вождающуюся ростом неуверенности и распространением пессимистических настроений.

Наши данные показали также, что в целом уверенность-неуверенность коррелирует с активностью-пассивностью. Самые неуверенные — это не резко отрицательно относящиеся к происходящим изменениям, а те, кто ничего не предпринимают и не собираются предпринимать для улучшения или же считают, что делать что-либо бесполезно. Например, по данным массива 1989 года, $I_{ув}$ борющихся против несправедливости (по самооценкам, которые следует рассматривать не как свидетельство реальной борьбы, а как проявление активистской идеологии) равен -04 , а тех, кто не борется, смирившись с несправедливостью, равен -38 . В 1998 году картина была аналогичной: $I_{ув}$ активно выступающих против несправедливости был -39 , а “примирившихся” — -65 . При этом направление влияния шло не от “уверенности” к “активности”, а наоборот: зная о степени активности, с большей вероятностью можно говорить об уровне уверенности, нежели, зная об уверенности, делать заключение об активности (коэффициенты Дельта соответственно равны $0,22$ и $0,14$). Свою пассивность неуверенные проецируют на других (явление атрибуции, описанное в когнитивной психологии). “Пассивность других” — весомый для идеологии неуверенных фактор: $I_{ув}$ считающих, что именно “пассивность, безразличие людей” мешает борьбе против несправедливости, на 20 единиц ниже, чем $I_{ув}$ уверенных, что мешают “внешние (по отношению к людям) факторы”. Данное явление (связь неуверенности с пассивностью) социологи обозначили как “ожидающее общество”, подразумевая под “ожиданием” бездеятельность и апатию, обусловленные неизвестностью и неопределенностью будущего в нестабильном социуме [8, с.95].

Анализ эмпирических данных дает основание предполагать, что фактором, повышающим степень уверенности и позволяющим преодолеть нарастающие кризисные явления в условиях трансформации, может стать консолидирующая идея. Косвенным свидетельством этого является следующее: поборники национальной идеи (интересы нации выше интересов государства; необходимо создать условия для преимущественного развития коренной национальности, не входить в союз—содружество и др.) более уверены в будущем, чем те, кто такой идеей не вдохновлен (последних, кстати, подавляющее большинство). Объяснить связь “уверенности” с приверженностью национальной идее, как нам кажется, можно тем, что последняя поддерживает определенное “состояние духа”, оптимистическую идейность. Мобилизуя и активизируя своих сторонников, национальная идея позволяет преодолеть состояние аномии и подавленности, создает иллюзию перспективы и конструктивности, конкретной программы деятельности. Об этом опять-таки свидетельствует направление связи: от “национальных идей” к “уверенности”, а не наоборот.

Итак, уверенность в будущем — важнейший компонент целостного активистского мировосприятия. Неуверенность же связана с пассивностью. Если использовать классификацию “аномической адаптации”, данную Т.Парсонсом, то рост неуверенности — это свидетельство все большего распространения именно “отчужденной пассивности”, которая в настоящее время получает повсеместное распространение в постсоветском про-

странстве. Представление о будущем, оценка перспектив изменения — важный фактор, обуславливающий восприятие населением происходящих перемен и характеризующий состояние сознания трансформирующегося общества. В качестве операционального признака представления о будущем может выступать “уверенность в завтрашнем дне”. Данный признак, который целесообразно использовать для диагностики кризисного сознания, связан с различными другими характеристиками сознания. Состояние уверенности/неуверенности, соответствующее состоянию оптимизма/пессимизма, существенным образом определяется наличием либо отсутствием такого компонента повседневного сознания, как вселяющая веру в будущее консолидирующая идея. Как рождаются и утверждаются в повседневном сознании такие идеи, это другой разговор, выходящий за рамки данной статьи.

Литература

1. Тойнби А.Дж. Постижение истории. — М., 1991.
2. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. — М., 1992.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984.
4. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. — М., 1981.
5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.
6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.
7. *Tarkowska E.* Uncertainty of the Future and Domination of the Presentist Orientation: a New Lasting Phenomenon? // *Sisyphus Sociological Studies*. — Vol. VI. — Warsaw, 1989.
8. *Tarkowska E.* Waiting Society: the Temporal Dimension of Transformation in Poland // *The Polish Sociological Bulletin*. — 1993. — № 2.
9. *Tarkowska E.* The Cultural Responses to Permanent Instability // *Cultural Dilemmas of Postcommunist Societies*. — Warsaw: IFiS Publishers, 1994.
10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
11. Наумова Н.Ф. Время человека // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
12. Давыдов А.А. Модель социального времени // *Социологические исследования*. — 1998. — № 4.
13. Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Индивидуальный экономический оптимизм/пессимизм в трансформирующемся обществе // *Социологический журнал*. — 1998. — № 1-2.
14. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие. История, теория и современная практика. — Киев, 1994.
15. Бабосов Е.М. Катастрофа как объект социологического анализа // *Социологические исследования*. — 1998. — № 9.
16. Ядов В.А. Социальные идентификации личности в условиях быстрых социальных перемен // *Социальная идентификация личности*. — М., 1994.
17. Ядов В.А. Структура и социально-побудительные импульсы социально-тревожного сознания // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
18. Шубкин В.Н. Страх как фактор социального поведения // *Социологический журнал*. — 1997. — № 3.
19. *Hallinan Maurin T.* The Sociological Study of Social Change // *American Sociological Review*. — 1997. — Vol. 62.
20. *Tarkowska E.* Time in Contemporary Culture // *Polish Sociological Review*. — 1998. — 2 (118).

21. *Ионин Л.Г.* Социология культуры. — М., 1996.
22. *Brikson E.H.* Identity. Youth and Crisis. — N.Y., 1968.
23. *Zastrow Ch.* Sociology of Social Problems. — Chicago: Nelson-Hall, 1982.
24. *Girard Ch.* Age, Gender and Suicide: a cross-national analysis // American Sociological Review. — 1993. — № 8.
25. *Орлова И.Б.* Самоубийство — явление социальное // Социологические исследования. — 1998. — № 8.
26. *Головаха Е.И., Пашина Н.В.* Интегральный индекс социального самочувствия (ИИСС): конструирование и применение социологического теста в массовых опросах. — Киев, 1997.
27. From Middle Income to Poor: Downward Mobility among Displaced Steelworkers / By Allison Zipray. — N.Y., 1991.
28. *Косалс Л.Я.* Социальный механизм экономических инноваций в постсоветской России // Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. — М., 1998.
29. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. — Харьков, 1997.
30. Beliefs, Attitudes and Values. Theory of Organization and Change by Milton Rokeach / Jossey-Bass Inc. Publishers San-Francisco. — Washington; London, 1972.
31. *Наумова Н.Ф.* Жизненная стратегия человека в переходном обществе // Социологический журнал. — 1995. — № 2.